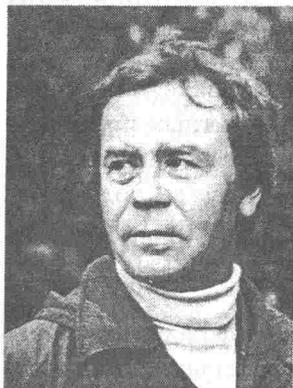


Проза



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

В НЕПОГОДУ

Рассказ

Я приехал в санаторий в конце марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтами только в низких и затененных местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь которые мартовскому солнцу еще не пробиться. Поселили меня в «заячий домик», названный так, должно быть, по памяти о детской сказке, в которой у лисы был ледяной домик, а у зайца лубяной, пришла весна, лисья ледяная избушка и растаяла... А заячья, самая маленькая в санатории, стоит уже более сорока лет, и ничего ей не делается. Предназначалась она, как говорит юное сорокалетнее предание, для охранников американского президента Эйзенхауэра, собиравшегося в ту пору посетить Байкал. Но посещение не состоялось: за полгода до поездки Эйзенхауэра американцы неосторожно заслали в глубины России самолет-разведчик У-2. Над Уралом он был сбит, и разразился скандал. А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на солнцеприпечном взгорке как раз над истоком Ангары — картина волшебная и могучая, из тех редкостных и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. И вот ее-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров.

Избушка только снаружи кажется маленькой, а внутри она ничего себе: три уютных и светлых комнатки, кухня, туалет с ванной за общей дверью и десять окон на все четыре стороны. По утрам мне доставляет удовольствие открывать на них шторы, и это занятие занимает у меня никак не меньше десяти-пятнадцати минут: встанешь перед западной стороной, где из-под белого ледяного поля

выливается в широкую горловину меж берегов торжественная новороженница Ангара, и не можешь отвести глаз. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом санатории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают.

А по вечерам я взял за правило подниматься на пик Черского, на самую большую высоту в прибрежных горах, названную именем польского ссыльного, исследователя Байкала. Тут сама природа устроила смотровую площадку, а человек благоустроил ее, соорудив беседку со скамьями и проведя к ней асфальтовую дорогу. Дорога, как и полагается при санаториях, еще недавно поделена была на три маршрута — для слабых, средние и ступающих бодрым шагом. Теперь маршруты переименовали в терренкуры — первый, второй и третий, о чем и повествует уже вытаявшая надпись белой краской на асфальте в начале пути сразу же за столовой. Словом, те же самые два с половиной километра до пика Черского проходишь теперь не в три маршрутных приема, а в три терренкурных приема. Ну, терренкур так терренкур — какая разница, как это называется, когда с пытением лезешь в гору! Но уж влез, встал под ветрами и облаками между небом и землей, окинул взглядом широко и безбрежно открывшееся чудо, задохнулся и воспарил от этого видения на крыльях чувственного восторга — этому названия нет!

Дорога на пик еще грязная и мокрая, ручьи по обочинам асфальта сбегают бесшумными и аккуратными полукружьями, настолько правильными, ровно отмеренными скобочками, что невозможно понять, что их «фигурит»; редкий от старых вырубок лес стоит недвижно и томно, в полуобмороке, в полудреме от тепла; воздух влажный и смолисто пряный. Дорога вьется зигзагами, идет серпантинном, огибая крутизну под удобным углом, жметя к обрыву, где над ложем убегающей Ангары выгибается вправо простор. Я уже спускаюсь обратно, когда в который уже раз встречается мне кипящий, как самовар, мужик с пыхающим медным лицом, в куртке нараспашку, из-под которой валит пар, с открытой, до окалины перегретой, лысой головой. Из-под мокрых казачьих усов он выкрикивает:

— Отметился?

— Отметился, — соглашаюсь я.

— А я сегодня второй раз отмечаюсь, — не останавливаясь, докладывает он и командует себе: — Вперед, некогда разговаривать!

Накануне резкой перемены погоды было особенно хорошо, особенно волшеб-но. Когда, перепрыгивая с камня на камень, поднялся я на пяточок смотровой площадки, солнце над Ангарой уже садилось и огромный, растянутый на все четыре стороны мир замер в последней и таинственной неге перед закатом. Тишина стояла полная и необъяснимая: внизу жили люди, извивался вдоль берега оживленный машинный тракт — и ни звука; теплоход, старый и изможденный трудяга под названием «Бабушкин», отчаливший от зимней пристани возле Лимнологического музея, сползал на большую и темную воду бесшумно, не поднимая волны. Лед нынче по теплой зиме отжался от Ангары дальше обычного, и белое его поле было разрисовано лапчатыми узорами от подтаявших снежных наносов. Вода выливалась из-под льда широким и спокойным потоком, чуть горбящимся и чуть покачивающимся с боку на бок, и долго магнетически вела за собой взгляд. Далеко влево за обширным ледовым полот-

нищем горы со снежными гривами по распадкам лежали в прозрачной завеси парной дымки Саяны. Мысы на той стороне Байкала, где Кругобайкальская дорога, вдвигались в море черными чудовищами, запустившими под лед рога, чтобы взломать его и отодвинуть восвояси. Ангара по левому берегу, закрытому от закатного солнца горами, уже лежала в глубокой тени, а низкий правый берег, неровный и зазубренный, искристо взблескивал под солнцем ожерельем ледового припая. Она, Ангара, видна была недалеко, до первого и близкого поворота вправо, и только здесь она еще и оставалась Ангарой в своей дивной красе и своих родных берегах. А уже через пятнадцать-двадцать километров и не полюбуешься ею: распухнет, завязнет в водохранилище, сначала в одном, затем в другом, третьем — и так до самого конца. Шаман-камень, хорошо видимый мне сейчас сверху, мерцающей темной лысой макушкой, легендарный Шаман-камень, которым пытался остановить Байкал свою своенравную дочь Ангару, когда она без родительского благословения бросилась бежать от него к Енисею, — не от этой ли судьбы Шаман-камень, легший поперек ее русла, пытался преградить беглянке путь?!

Пока размышлял я и печалился о судьбе Ангары, по-матерински вспоившей и вскормившей меня в детстве в полутысяче километров отсюда, напитавшей мою душу вечной любовью и благодарностью к ней, украсившей ее красками и линиями своей красоты, наговорившей сказки, которые продолжают звучать во мне еще и теперь, научившей язык мой словам, которые и склонили потом меня к моей профессии, наплескавшей в меня сострадательные слезы, — пока я стремительной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что была в моем детстве, а вернулся над теперешней, — солнце за эти минуты присело еще ниже над гористым горизонтом и в четких контурах смотрелось чистой сияющей чашей, испитой до дна. Ледяное поле Байкала лежало в позолоте, возле правого берега, где Толстый мыс вдвигался в Байкал, позолота была гуще, сочнее, а влево перед Саянами широко разливалась тонкой и нежной пленкой, чуть подкрашивающей, чуть обласкивающей холодную пустынность. Я отвел глаза от Байкала только на мгновение, чтобы оглянуться на темнеющую, мирно бурлящую в прибрежных камнях Ангару, заваливающуюся вправо, и за это мгновение вал низкого солнца успел надвинуться на дальний противоположный берег и стал подниматься в горы. Весь недвижный Байкал адел ровно разлитой стекленеющей краской, на востоке, где разворачивался он, чтобы устремиться на север, до самых вершин озарились и горы, снег на них заискрился и засиял, сияние это, расширяясь, надвигаясь на южную оконечность гор, поползло вправо мерным выдохом последнего красного света.

Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шел справа налево, там поднимался в горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, к Толстому мысу. Да, всю свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем и теплую щедрость снизало солнце в эту огромную волшебную чашу, в это неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, опустошенное, меднистое, отгоревшее, сидело на краю горизонта на невесть откуда взявшееся небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами и разлохмаченным хвостом.

Тишь загустела еще больше и сделалась совсем неправдоподобной. Ни звука,

ни ветерка, ни вдоха или скрипа в просыпающемся от спячки весеннем лесу. Гольй, глухой лес, застывший в спадающей вниз высокой волне, лежал в оцепенении, петлистая дорога с рыхлыми боковинами снега была пуста, ни людская, ни лесная жизнь никак не давали о себе знать. После мягкого дня к вечеру нисколько не посвежело, а как бы еще больше погрузилось в вышедшее из берегов полотеплие. И по этому общему оцепенению, по сладкой и тревожной истоме, охватившей мир, по опустошенному солнцу с четко отпечатанным ободом круга, по многим другим приметам можно, наверное, было догадаться, что все это неспроста и что всякое волшебство, перешедшее через край, таит в себе предостережение. Но и неспособны мы теперь к этому, и не хотелось отзываться ни на какие предостережения — так было хорошо и благостно, такой на сердце лег покой!

С того места, где я стоял, солнце уже опустилось за темную горбушку мыса, а облако, только что напоминавшее оленя в стремительном прыжке, точно скинув с себя оседлавшее его солнце и изуродовавшись от ожога, ничего поэтического из себя, кроме скомканной белой шкуры, больше не представляло. А на противоположной, на утренней стороне небосклона, над горами в розовом снегу, вдруг выплыли белой стайкой кружевные облачные фигурки, одна занятней и диковенней другой, красивые и веселые в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, как оказалось, под прямоток западающего солнца. Легкая и широкая, во всю правую боковину Байкала, заскользила по льду тень, медленно разматываясь и пригашая его золотистое свечение. Перед горами тень испарилась, горы по-прежнему лежали в солнечном свете, густом, настоенном, влившем в могучие каменные изваяния. Стайка облаков, не рассыпаясь, заняла свое место чуть поперед гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, такой гранатовой сочностью, что и лед под этим фантастическим новым светилom опять заалел, и кругобайкальский берег выступил всеми своими складчатыми ярусами. И чем глубже закатывалось солнце, чем плотнее ложились сумерки на Ангару, тем ярче и волшебней окрылялось огненными волшебными жар-птицами небо над Байкалом и тем смелей и вдохновенней продолжал накладывать краски невидимый художник. Я еще долго стоял на каменистом выступе скалы, приближенный, казалось, к тайным и могучим силам неба. И долго-долго теплились, не затухая, горы, овал самой дальней из них, высящейся за поворотом, мерцал негасимой оплывшей свечой; облака самородными зорьками висели над Байкалом; на льду трепетали всполохи. И все так же было тепло, бархатный воздух ласкал лицо, и с души не сходил восторг.

Ночью меня разбудил грохот: распахнуло окно в большой комнате, глядящей на Ангару, сбросило с подоконника тяжелую каменную пепельницу, для которой я, некурящий, не мог подыскать более подходящего места, и в избушку мою ворвалось уличное буйство. Там гудело, шумело, бухало, плескалось и билось безостановочно. Сосны и кедры перед окнами, выламываясь, ходили ходуном, всплескивали в отчаянии ветками и стонали от ураганного северного ветра. Порывы его были долгими и тяжелыми и налетали подхватывающимися и нарастающими волнами. Я втолкнул двойные рамы окна на место, удивляясь тому, как уцелели стекла, закрепил их шпингалетами и уже через стекло заметил, что темноту из ночи выбило проносющимся за окном снегом, и там, как на дне глубокого и мощного течения, колышется водянистый полумрак. Я постоял

перед ним, перед валом пронсящегося снега, проверил, хорошо ли закреплены рамы на остальных девяти окнах моего «заячьего домика» и, надвинув на голову подушку, снова уснул.

Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово трепал деревья и завывал с устрашающим гудом, заставляющим прислушиваться к нему и цепеть. Из-под снега торчали обломанные ветки, выдранная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на соседней и ездил-пилила по ней, сдирая кору и оседа все ниже и ниже. Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплескивая ее на лед. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крыльцо было завалено суметом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал снега. Перед крыльцом его намело в гору, преодолеть которую не представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край гнутой спинки, левую скамейку не видно было совсем. Мне ничего не оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройти по ней, оставляя на пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по обочине угадываемой дорожки выбраться на большую, на машинную дорогу, также бесследно покрытую тяжким белым саваном. Подходы к главному корпусу, где столовая и лечебные кабинеты, должно быть, с рассветом пытались расчищать, сугробы лежали здесь с волнистыми разводьями, но к этому часу всякие попытки бороться со снегом были оставлены, и он, ложась, неистово вихрил победную карусель. Несколько казавшихся неуклюжими фигур, согбенно крались к входным дверям с выхлестанным стеклом. Но если бы даже это стекло было невредимо, оно несдобровало бы, пропуская меня, когда под хлестким ударом ветра я не удержал дверь, и она бухнула, сотрясая четырехэтажное каменное здание. А внутри как ни в чем не бывало из раздевалки дурноматом гремела музыка и маленькая остролицая гардеробщица, закатив глаза, стояла возле столика в углу с приплясывающей головой.

В коридоре первого этажа сидели возле стен перед процедурными кабинетами реденьким строем, переговаривались, придавленные непогодой, мало и вполголоса, прислушивались к доносящемуся и сюда завыванию пурги... А медсестры, врачи опаздывали, добираясь из своих поселков, как в тундре, по бездорожью и снегошпидательным ударам ветробоя. Вбегали, одетые по-зимнему, в налишшем снегу, действовали своим энергичным появлением на присмиривших ожидающих своей порции здоровья ободряюще и через пять минут, успев переодеться, принимались за дело. Белые халаты смотрелись на них в это утро с каким-то особенным утешением — как чистота и непоколебимость мира.

Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-заячьи сигая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдал от входной двери снег и юркнул внутрь. В домике моем было куда как прохладно, это чувствовалось даже после штормящей улицы. Телефон не работал; когда я поднимал трубку, в ней сифонили лишь голоса непогоды, а они и без телефона проникали сквозь стены; радио умолкло, к моей тайной радости, ибо в надежде отыскать в его необъятном эфирном пространстве что-нибудь приличное, я время от времени терзал его, накручивая колесико, но там всюду прочно воцарились новые вкусы и нравы. Электричество чудом держалось. Я подтащил ребристую панель электрообогревателя к столу, зажег настольную лампу и протянул ноги к потрескивающему, набирающему силу, теплу. Пусть там, за окнами, творится что угодно, а в

моей власти, которую я занесу на бумагу, создать счастливый мир, сродни вечернему, вечернему, осиянному солнцем и покоем. У нашего брата лучшие картины получаются не с натуры, а с помощью воспоминаний и представлений, которые еще живее, сочнее и четче становятся в предположениях, недоступных глазу. Как хорошо лето писать зимой, тоскуя по лету, ощутительно и зримо отдаваясь ему всем своим существом, умея восполнить все, что не удалось при встрече. Для нашего пера воображение, дополняющее воспоминание, есть такой же перочинный инструмент, как для простого грифельного карандаша перочинный нож. И чем неистовей, чем злей кутерьма за окном, тем отрадней и теплей должны являться вожделенные картины.

Стол мой стоял между двумя просторными, чуть не до потолка, окнами, и в них еще злей, чем утром, трепало деревья и видна была кипящая, поднятая на дыбы Ангара. Снег тащило не переставая; казалось, что, завихряя, закручивая, его поднимает вверх и набрасывает на небо, уже заваленное тусклыми сугробами, а уже оттуда снег опять сваливается вниз. Я попробовал закрыться от этой действительности шторами, но тогда изнуряющее голошение пурги становилось еще тяжелей и в груди холодком занывала тревога. А распахивал шторы — по комнате принимался погуливать ветер. И за стенами он принимался наддавать так, что бедная моя избушка только кряхтела, из последней, казалось, мочи выдерживая шквал за шквалом.

Так продолжалось весь день, так продолжалось и на следующий. Все то же надрывающее душу стенание, все та же бесконечная трепка деревьев и бешеные удары в стену, от которых звенела посуда в шкафу, все та же мгlistая иссеченность белого света. Но на второй день люди, придя в себя, стали приспособляться к жизни в штормовой обстановке, как приспособляются они к жизни среди войны: на тракте появилась снегоочистительная техника и засновали машины, ушел утром по расписанию в город и автобус из санатория, отдыхающие охали меньше и в поисках развлечений подходили к стенду с объявлениями возле столовой и замечали танцевальную афишу. Да и снег к обеду второго дня прекратился, поверилось, что и сломный ветер мало-помалу утихомиривается. Потеплело, и с крыши моего домика принялась налаживаться капель. Я веселей впрыгивал, как на спасительный мостик, на скамейку, по которой проложена была тропа, а затем выбрасывался с нее на скат снежной горы. Однажды на горизонте перед этой горой появился парень с совковой лопатой, постоял-постоял в задумчивости и, разглядев по следам, что постоялец «заячьего домика» жив и имеет сношения с внешним миром, отбыл себе восвояси.

Я решил эти сношения раздвинуть и после обеда через проходную с турникетом вышел за границу санатория и стал спускаться к чернеющей внизу Ангаре. В три часа пополудни зависли сумерки, хотя день весеннего равноденствия уже миновал и границы тьмы и света сравнялись. Неба над головой не было, не было у Байкала и противоположного горного берега, там и там близко стояла мутная непроницаемость. Только по левому плечу Ангары, где портовый поселок, что-то как бы блазнилось, то ли есть, то ли нету, неверным слюдянистым мерцанием. И только Толстый мыс влево от поселка выступал из белесой тьмы кругом тьмы черной, висящей в воздухе. Ангарскую волну, взбивая ее острые гребни в белые пенистые барашки, по-прежнему гнало в Байкал, а байкальская ледовая равнина зыбилась, текла — то ли ветер ворошил там снег, то ли далеко

заплескивало воду. Пока шел я под защитой бетонной санаторской ограды, завывало, казалось, где-то в стороне, но едва лишь на спуске с горы выбрался я на простор, под шквальный разгонистый бой и во всю грудь подставил себя под удар, я его незамедлительно и получил, точно враспяжку тугим жгутом, развернуло и с твердого полотна дороги бросило в сугроб. Утонув задницей в снегу и оказавшись в каком-то очень удобном положении, я не торопился подниматься, как всякий поверженный, получивший хороший урок. Вот и «затихает мало-помалу»... ничего он, как с цепи сорвавшийся и донельзя обозленный, не затихает, а только взял он, «бурлак» (так называли у нас, в низовьях Ангары, северный ветер, тянущий и тянущий по суткам), небольшую передышку, чтобы прочистить свои исполинские меха, и теперь по обессиленной земле будет бить еще нещадней. Но куда же нещадней?! — здесь не океанская пустыня, не тундра, не пески, где дикие, взрывные, разрушительной силы, смерчевья выбрасываются из своей оболочки и начинают бешеную погоню... А здесь-то, на богоспасаемой земле, куда больше? И зачем?

Не без труда я выбрался из снега и, не споря больше с ветром, получив достаточные доказательства, кто здесь хозяин, повернул обратно. Отступал я постыдно, эпилептически загребая ногами, низко клонясь вперед, выставив спину, с усилием отталкиваясь правой ногой от обочины, куда меня сносило, а левую норовил выбросить вперед и скорей навалиться на нее, чтобы не упасть. «Погуляли по свежему воздуху?» — участливо спросила меня в проходной немолодая женщина-вахтер с наброшенным на плечи поверх пятнистой формы белым овчинным полушубком. Через окошечко в стекле мы с нею поговорили. Я похвалил полушубок, искренне всегда радуясь, когда, вопреки моде, появляется потребность в старых добротных вещах, а она, желая похвалить меня, сказала, что за весь этот день я третий, кто осмелился выбираться из санатория. «И долго гуляли первые двое?» — «Они в десяти шагах друг за дружку схватились, две женщины, две хохотушки из Москвы, их тут все знают... И похотеть забыли — скорей назад. Это я на них маленько посмеялась, что такие они скорые, а они только рычат: «Сибир, Сибир!» Вот и «Сибир!» — дождались, — поворачивая разговор, добавила она. — Душу тянет этот вой. Собака завоет, и то нехорошо: беду кличет. А тут что творится! Набедокурили, а теперь: циклон, циклон! — Это она уж о нашем вмешательстве в природу. — Какая мне польза, откуда этот циклон и как он называется? По мне хоть никак он не называйся... лишь бы его не было! Раньше ветры были... тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух захватывало, как налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит тебя с земли сдуть!» — «Мы с вами люди немолодые, — попробовал я объяснить, — мы стали бояться всего». — «Нет, нет! — решительно не согласилась женщина, приближая к окошечку суровое мужицкое лицо, которое и верно трудно было заподозрить в трусости. — Не говорите, это с нас спросшел».

Провожая меня, выбравшись в узкую боковую дверцу из своего закутка, женщина вручила мне бумажный пакет с курильским чаем, который она сама и заготавливает и без которого никакой, ни китайский, ни цейлонский чай ей не чай. «Люблю совсем горячий, такой, чтоб во рту кипело, — говорила она, давая мне понюхать благоухающее, мелко измолотое снадобье из пакета. — Такой

попьешь — и никакая холера не пристанет. Нет, баня — так с веником, а чай — так с курильским!» Краснолицая, крупная, знающая ответы на все вопросы, женщина-вахтер так искренне и энергично настаивала, что я решил: «На ужин не пойду. А заварю сейчас ваш курильский, напитая им все свои косточки — и пусть хоть от злости убьется этот циклон, мне дела нет!»

Так я и сделал. В две минуты добыл в скороварке кипяток, круто заварил чай, не ведая, китайский он или цейлонский, потому что на тяжеловесных пачках пошли имена: «Ахмад» такой-то, «Принцесса» такая-то, а не происхождение чая, «поджегил» этого «Ахмада» золотистыми цветочками подаренного курильского и перенес весь этот церемониал, весь этот набор из сильно выстуженной кухонки на другую боковину домика в спальню, зашторил там окна, чтобы не видеть, как в непрекращающейся попытке выкручивает и выбивает последний дух из сосенок, забрался в кровать под пуховое китайское одеяло и зажег лампу над головой. В каждом положении можно сыскать свое преимущество. Разве был бы так сладок и так бодрящ чай в красный солнечный день, когда доступны многие удовольствия, и разве ощущал бы я в себе такое блаженное измождение?! Спросите меня, был ли я когда-нибудь счастлив единственным счастьем, как никогда больше, и я, ничуть не кривя душой, тотчас отвечу, что был. Да, такое повториться не могло. Распластанный на больничной койке после операции, с тремя пластмассовыми трубками в паху, выводящими разные жидкости, донимаемый болью, которую нечем было снять, ранним и темным февральским утром я изгибал грудь, пытаясь не потревожить живот, выворачивал голову и тянул, тянул запрокинутую за нее правую руку, выдавливал сантиметр за сантиметром из плечевого сустава, чтобы дотянуться и ухватиться за отодвинутую куда-то туда тумбочку. Когда наконец дотянулся — она оказалась тяжелей, чем я рассчитывал, и не поддавалась мне. Я скреб по ней ногтями, раскачивал ее и умолял, стучал по ее стенке в болезненном расчете достучаться и вызвать сочувствие и поддержку того, что требовалось, отступал в изнеможении, подбирая руку, и снова тянулся, и снова раскачивал. И я добился-таки своего — заставил тумбочку начать движение с кряхтением и визгом по застланному линолеумом полу. В ней находилось мое спасение на этот час — кипятильник и пачка чаю. Кружка с водой стояла на полу возле кровати, я легко доставал до нее; электрическую розетку я разыскал еще прежде на стене слева, и тоже за головой, и тоже неизвестно как тянуться. Но сначала надо было придвинуть тумбочку. Я вцепился в нее, стараясь не думать о том, что этими судорожными усилиями могу вытянуть и сбить в себе весь ненадежный и наполовину искусственный механизм выведения отработанной жидкости. Мне срочно требовалась моя, тысячу раз проверенная и подкреплявшая меня, самая живительная жидкость, в которую я верил больше, чем в любое лекарство. И я, спустя час или полтора, нет, спустя вечность, донельзя измученный, с трясущимися руками и забитым болью животом, сумел ее добыть.

И когда сделал я первый глоток и он ушел в спекшееся нутро, все во мне, телесное и нетелесное, израненное и вынашивающее раны, разумное и неразумное, — все во мне ожило и возликовало, каждая косточка отозвалась благодарным вздохом, каждая кровинка заторопилась оросить этим волшебным напитком свои берега, и я наконец почувствовал себя вполне живым. Казалось, что и боль затихает. Я пил не торопясь, вслушиваясь в себя, давая успокоиться поры-

вистому нетерпению, чтобы в спешке не произошло какого-нибудь беспорядка, я отправлял тепло и силу точно туда, где их не хватало, ощущая, как они уходят и впитываются в изможденную плоть и как она, эта плоть, принимается благодарно пульсировать. Большого наслаждения и большего утешения мне испытывать, кажется, не приходилось, и мне не хочется их больше ни с чем и сравнивать, они были единственными, и они оставались во мне, как радость, во все дни моего выздоровления.

Конечно, теперешнее мое чаепитие по сравнению с тем, больничным, спасительным или торжественно выставленным мною на спасительное место, памятное на всю жизнь, — теперешнее, конечно, ничего особенного из себя не представляло, но и оно радовало меня не без причин. Не мог же я среди дня забраться под теплое одеяло ни с того ни с сего, а чай — это всегда небольшой праздник и чайную церемонию позволяет обставлять с чудачествами и удобствами. Я приглатывал из фарфоровой кружки, которая сопровождает меня во всех поездках уже лет пятнадцать, смаковал каждый глоток, как это умеет только истинный ценитель чая, радовался пустяку — тому, что правильно решил сегодня не выползть больше из своей конуры, и рев пурги или бурана, циклона или циклопа уже не так донимал меня. Не сегодня, так завтра вся эта круговерть, все это буйство закончится; существует же в природе норма как на погожие, так и непогожие дни. Для пушшего оправдания своей праздности я решил добавить к ней еще одно душеполезное занятие и взял со столика том Лескова, принесенный из библиотеки дней пять назад и до сей поры не раскрывавшийся. Раскрылось на рассказе «На краю света», читанном довольно давно, большим, с плотным и неспешным текстом, который нынешние литераторы, дайся им случайно такой текст, не преминули бы назвать романом, с историей из наших сибирских краев. В ней иркутский архиерей едет среди зимы с инспекторской проверкой в дальний угол своей необъятной епархии, в последние пределы инородческой Якутии. Лесков не бывал в наших краях, и его представление о них, как и о населяющих их аборигенах, порой наивно, точно он и предполагать не мог, что когда-нибудь здесь появятся его читатели. В наших краях побывал другой великий русский писатель, современник Лескова, Гончаров. Возвращаясь из своего кругосветного морского путешествия на фрегате «Паллада», Гончаров из Охотска, где он сошел на берег, по тундрам и тайгам сибирского Севера преодолел тысячи верст то на оленях, то на лошадаках, а то и вовсе на своих двоих, пока не выбрался в Иркутске на торную дорогу. Его путь однажды мог пересечься с собачьей упряжкой, которая везла лесковского архиерея. И Гончаров знал бы, что можно многие часы пролежать под снегом, спасаясь от жестокой пурги, но нельзя долгие часы зимней ночи просидеть, не околевав, на дереве, спасаясь от стаи волков, как это происходит у Лескова, потому что лютей мороз не милосерднее лютого зверя. Вот эта невольная оплошность Лескова почему-то и осталась в моей памяти после давнего и, быть может, торопливого прочтения рассказа. Теперь я имел случай окунуться в него заново и неторопливо и под вой непогоды почувствовать, как будто глоток за глотком испивал я этот бальзам из лесковского сосуда, его удивительную духовную красоту и достоверность. Да и спасение от волков прыткого архиерея, просидевшего всю ночь на дереве, совсем не показалась мне неправдоподобным. Дело-то не в этом.

Но, Господи, как же мне опять стало холодно и тревожно от этой разгулявшейся «на краю света» стихии, от этого нескончаемого звериного рычания тундры! Это она, казалось, и воет, она рвет и мечет за стенами моего игрушечного домика. Я читал, досадуя на себя, как это меня угораздило сегодня влезть именно в это чтение и потревожить духов гигантской северной кухни, где замешиваются и выпекаются самые каленые морозы и самые необузданные пурги. Я дочитал рассказ, отложил книгу и прислушался: точно не в стены моего домика колотило, а, оторвав его, колотило им по мерзлой земле, вбивая безрассудное упрямство. Отодвинув штору, я выглянул: в грязных лохмотьях и лоснящихся пятнах темноты возилось и завывало — как предшествование чего-то окончательно жуткого.

Было время, когда я искренне верил, что с возрастом тревоги и страха притупляются и чем дальше, тем больше сходят на нет. К чему чего-то бояться старикам, сполна или почти сполна испытавшим все, отпущенное им на веку? Оставшееся так незначительно, и неинтересно, и тягостно, что на него недостает уже ни чувств, ни воли, ни притязаний. Оно, оставшееся, само по себе есть конец. Не мгновенный обрыв, а медленное, тяжелое, бесшумное угасание и сползание в небытие. И хоть наблюдал я, что в действительности происходит наоборот: молодые принимают жизнь ветрено и мало ее ценят, а старики, иссушившие, казалось бы, полностью свои страсти и выбравшие до доньшка свою долю, начинают хвататься за нее так, будто они еще и не жили. Мне представлялось это непонятным и почти унижительным, когда видел я непрестанную тревогу стариков по любому пустяку, угрожающему их затаенному существованию.

И вот теперь я сам подбираюсь к той же самой поре, и тревоги, над которыми я готов был смеяться, вселяются мало-помалу и в меня. Суть их и причина не только в том, что никому из нас не хочется уходить из этого дурно, но и прекрасно устроенного мира... Хочется не хочется, а уходить придется. Но как уходить? Боятся, за небольшими исключениями, не смерти, а боятся умирания, того, как оно будет свершаться. А вдруг грубо, неприятно, срамно? Вдруг впопыхах, без молитвы и покаяния, или, напротив, мучительно долго, оскорбительно страшно, от ножа грабителя, в многолетней неподвижности и беспомощности? К уходу, к этому священному и окончательному событию, к событию, прекращающему твое земное бытие, надо подготовиться. Не в гости идешь. Подвести итоги, выслушать чистосердечное сказание о твоей жизни, тобою же сказанное, наговориться с родными, наплакаться втихомолку над минутами и годами счастья, принять причастие... Чего же после этого пугаться, если веришь, что после оставляемых трудов и детей-внуков, уходишь ты из бытия во всебытие, в единое и вечное крепление, которым держится земная жизнь? В таком случае это есть избавление от немощи и перерождение в силу, в бесконечную родительскую любовь, преображающуюся в земные картины: одну из них и наблюдал я последним мирным вечером накануне пурги, — ласковую, теплую, в перебивах несказанной красоты, никак не хотевшую сходить с Байкала... Да, так не страшно уходить и туда. Окруженному родными лицами, в которых ты видишь себя, свое продолжение, под шелест утягивающей молитвы...

И вдруг избушка моя подскочила — точно не от порыва ветра, а от удара тяжелой стенобитной машины. Я вскочил в испуге и в то же мгновение, вспыхнув ослепительно, погас свет. Мало сомневаясь, что это, должно быть, рухнула

на мое жилище лесина, я замер в ожидании: сейчас или чуть погодя свалится на меня потолок. Темнота пала замогильная, окончательная. Не помня себя, я заглянул за штору — ни дырки нигде в сплошной завеси, только буйствовал ветер. Ощупью я нашарил дверь в гостиную — она поддалась, и я словно на улице оказался: так в ней было выстужено и тревожно. Шаг за шагом, с выставленными перед собой руками, подвигался я внутрь, услышал дребезжание стеклянной посуды в буфете и издал облегченный стон, будто буфет мог оказаться самой надежной крепостью в моей обители. Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошел ее раз и еще раз до самого конца, до входных дверей: все стояло на своих местах. Ай да «заячий домик»! Ветер продолжал охаживать его бешеными нахлестами, нисколько не уставая,— домик вздрагивал от них, кричал и стонал, боль с причитанием пробежала по стенам, взрыдывали оконные стекла, подголосками заходилась посудный шкаф... Но — стоял! Я готов был поверить, что свали совсем одуревший шквальный ветер этого упрянца, он бы вскоре и затих, сделав свое дело. А тут нашла коса на камень. Штурм продолжался.

Но что же это такое, в конце концов, что за сила, что за злоба обрушилась на безвинную землю и на все живущее на ней и треплет, треплет уже третьи сутки?! Или не такие уж мы и безвинные, какими нам хотелось бы представить себя в такие вот пугающие часы, точно подготавливающие Судный день? Разве не права женщина-вахтер в овчинном полушубке, подарившая мне сегодня курильский чай и уверенно повторявшая, что это не просто непогода, не просто стихия, являющая свой дикий нрав,— это нас уже требуют к ответу.

Что мне оставалось делать в крошечном и бушующем мраке: я добрался до постели и, не раздеваясь, боясь без штанов и рубашки остаться в совсем уж полной беспомощности, залез под одеяло. Уснуть было невозможно, отвлечь себя от тяжелых дум было нечем... Я взялся представлять, что это я по дурной дороге, в ухабах и ямах, тряусь в какой-нибудь допотопной закрытой карете посреди темной, слепой и потому особенно злой, задыхающейся от ярости, грозы. Грозы длительными не бывают, наверное, я своей ищущей облегчения памятью учел и это, выбирая род наказания, вот-вот необузданная вышняя трепка, выбивающая из земли потроха, должна прекратиться. Надо потерпеть.

И я подумал: мужество — это когда некуда деваться. Эта формула мне понравилась. Мое положение не требовало особого мужества: я лежал в мягкой постели под теплым одеялом, темень для сна, как известно, не помеха, вой пурги и упругие шлепки в стены... не требуется большого воображения, чтобы принять их за колыбельную и за чрезмерно усердное потряхивание зыбки-кровати. Мое положение не требовало даже и никакого мужества. И я не к себе примерял сложившиеся у меня о мужестве слова. В оболочкей меня, как угар, тревоге можно было, если на то пошло, сыскать даже признаки малодушия, если бы... Если бы не была эта тревога пополам с печалью и если бы не сказывала половинка-печаль, что не миновать нам всем в скором времени испытаний, от которых никуда не деться и которые потребуют последних сил и последнего терпения.

Или это нас задурили, внесли страх и смятение в наши души, обрушивая ежедневно, вместо «с добрым утром!», ледяные ушаты новостей?! Чего только в них нет: из адовых глубин вырывается на пастбища и города кипящая лава

вулканов, с гор сходят потоки камней и грязи и устремляются на хлебоборобные долины, огромные ледяные материки, вбитые в отроги гор со дня сотворения мира, снимаются со своих становищ и ползут вниз, выдирая, вспахивая и уничтожая на пути все живое и неживое... Одна картина жутче другой. А в долинах разверзаются хляби небесные, вода извергается стеной, реки выплескиваются из берегов с такой скоростью, что люди не успевают убежать, лютуют дикие ветры, по неделе не знающие удержу... По земле пылают леса, выгорая в исполинские черно-мертвенные, обдающие жутью пейзажи, а под землей месяцами тлеют торфяники, и липкий дым накрывает и в мирных трудах пасущиеся веси, и многомиллионные, погрязшие в грехах, города. В окружении подобных событий мы просыпаемся, среди них засыпаем, нет от них спасу ни зимой, ни летом. И если выпадет ненароком день, свободный от них, голоса дикторов становятся донельзя несчастными и пустыми, как в горе горьком, испепеляющем сердце... и слышно и видно на дне расплотившихся эфиров, как страдают они от этого всепланетного невезенья, от этой потухающей жизни, не способной изобрести новой огненной геенны... и голодными испуганными глазами озирают черные вестники вселенную... Но уж если обрушится от рук негодяев многоквартирный дом, налетевший смерч взвывает, как пушинки, в воздух десятки несчастных и примется забавляться ими, если затопит старушку Европу, как дрейфующую без руля и без ветрил баржу с дырявым днищем, и закрутит по ней из конца в конец жуткие воронки, будто она уже ввинчивается-уходит в тартарары, а к планете нашей из тьмы космоса станет приближаться смертник-астероид, полный желаний подорвать ее и сбросить с орбиты, — о-о! — с каким восторгом и жаром, с каким самозабвением и пылкостью заливаются их голоса!.. тех, кто питает нас и спасает от прозябания!.. какой они достигают чувственной страсти и красоты, какого торжества!.. точно соловьи на утренней зорьке, славящие солнечное пришествие! Попробуй при таком ликовании не заслушаться! Попробуй не впустить в себя, не надышать и не насмотреть эти микробы раковой болезни, заслоняющей весь мир, это едко-дымное, перехватывающее дыхание ожидание надвигающейся катастрофы, это безрадостное проживание дня! И я замечаю их, замечаю тревогу и страх в глазах, натянутое внимание и невольное оцепенение перед ничем, не только в стариках, но и в молодых лицах, озирающихся в неясных предчувствиях. Я нисколько не удивляюсь, когда молодая мама, родственница моя, собирая ребенка на прогулку, вдруг замечает в окно шевелящиеся ветви тополей и приходит в волнение: «Нет-нет, остаемся дома, налетает циклон».

Страхи наши, конечно, преувеличены, колокольцы, подающие сигналы опасности, выплавлены из сверхчувствительного материала и могут названивать ни с чего, от одного лишь своего существования, от назначения названивать. Конечно, сам воздух, наэлектризованный повторяющимися грозowymi разрядами, больно колетса даже от осторожного соприкосновения с ним. Много что подает усердные и фальшивые сигналы от какого-то общего переутомления. Но разве само это переутомление не есть признак крайнего напряжения сил? И спуста ли? Прохудилась не одна старушка Европа, привыкающая плавать в воде, как дырявая посудина,— прохудился и Новый Свет, и Кигай, и Сибирь, и Австралия, всюду волны гуляют по площадям с океанским буйством и тысячи сброшенных в эту стихию из человеческого рода, из рода властителей, не смогли больше

найти опоры под ногами. «Это что — попужать нас хотят или как?» — вопрошала в таких случаях тетка Улита, моя деревенская соседка, ныне покойная, обращаясь к небесным силам. «Только попужать или как?» Подтаивает вечная мерзлота в северных широтах, побежали ручьи с вечных снегов Килиманджаро, Северный полюс, удерживающий земную ось, превращается в снежную кашу, по которой ни пройти ни проехать... Ученые, снимая вину с человека, толкуют о цикличности: мол, подобные потепления уже не однажды бывали, и все это в порядке вещей. А ветхозаветное предание напоминает о всемирном потопе. Не так ли, не с похожих ли «протертостей» он начинался? Разве предания лгут? Посеявшие ветер пожинают бурю. Я заглядываю опять в сухие, замогильные глаза тетки Улиты, праведницы, не позволившей себе ни одного худого дела на земле... Больше всего в конце жизни тетка Улита радовалась тому, что не суждено ей было остаться под пучиной вод, затопившей старые ангарские деревни и кладбища после строительства гидроэлектростанций. Я заглядываю в глаза тетки Улиты и различаю едва уловимый утвердительный вздох. Ни я не могу задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из многих-многих памятных между нами разговоров слагаются эти слова, — слышу я едва внятное: «Ну а как же: ежели мимо рук, ежели окромя Бога... не-ет, такой свет не устоит». И я вижу, как поддакивают ей и бабушка моя, и мать... Не значит ли это, что в бушующей за окнами моего домика стихии есть и их воля: ветер-то оттуда, с той стороны, где они... И бешеные эти порывы — не без назидания; жуткие эти стенания — не без горького плача родных наших, сошедших с земли, о нашей участи.

В стены все бьет и бьет, подбрасывает мой домик, со скрежетом выдирает его оклад из коробки бетонного фундамента. После каждого приступа домик с криканием и вздохами едва усаживается обратно, в свое гнездо, и напряжинивается, подаваясь вперед и выставляя грудь-преграду. Но чувствуется, что все труднее принять ему боевое положение и все задышливей его вздохи. Я боюсь поверить, чтобы не ошибиться и не раззадорить еще пуще силу, запускающую эти снарядные удары, но кажется мне, что и она начинает утомляться, что и ей, чтобы набрать в какую-то могучую грудь воздуха, требуется все больше времени, что и ее вздохи становятся учащенней и захлебистей. Или это только кажется? Мне хочется думать: если я не ошибаюсь и бешенство стихии изнемогает, так это оттого, что мысли мои приняли правильное направление и причина взбунтовавшихся против нас сил та, именно та...

И мы, должно быть, интуитивно чувствуем, откуда могут дуть такие ветры. Умом не соглашаемся, ум наш изворотливо подставляет научные объяснения, вроде цикличности, как лето и зима, эпох потепления и похолодания... Но и цикличность пережить — это не два-три дня без солнышка перебиться и не два-три дня пересидеть на крыше своего домика вокруг необъятного разлива вырвавшихся из берегов вод, пока не сольются обратно в берега...

Когда бы дело было только в этом, чего бы ради, скажите, пожалуйста, устраивать вселенский шабаш, от которого пышет жутью и смрадом и который порочит нас дальше некуда, но в безоглядности и жертвенности которого невольно проступает и мученическая истина: дальше, больше, громче, гаже, — потому что скоро некому будет этому ужасаться, мы последние.

Из веков дошло: Римскую империю, самую могущественную в древности,

окованную железной организацией войска и разумной в законе и праве организацией государства, громогласную и сказочно богатую, развалили в короткое время праздность и разврат. Оказалось, что нет силы сокрушительней, перед которой не устаивают ни победоносные империи, ни цветущие, купающиеся в музах и грациях, цивилизации, чем маленькая, бесконечно невзрачная букашка-душегуб, слизистая тля. Впустили ее под кожу — и все великие творения Рима, все завоевания его были безудержно разгулены и развеяны по ветру, превратились в прах.

Но что и взять с них, с язычников, не вкусивших в исторических и духовных потемках ни истины, ни любви Христовой, прозябавших по-варварски в грубых и шумных развлечениях?! Что и ожидать от них, не имевших ни наших технических достижений, ни наших изысканных вкусов, широты и глубины взгляда!

Зато уж мы-ы!..

По большим праздникам у нас ликует вся планета. Миллионные толпы собираются на площадях, миллионноустый восторг оглашает за десятки километров окрестности, когда салютующие пушки выбрасывают высоко в небо феерию разноцветных огней, а вослед им грохочут тысячекратные усилители нашей громобойной музыки, гремят петарды и хлопушки, на подмостках сцен бьются перед микрофонами в истерике исполнители художественного крика, что-то кричат и подпрыгивают на плечах отцов и матерей младенцы... Гуляй, планета! После футбольных матчей болельщики, и огорченные поражением, и обрадованные победой, с одинаковой страстью принимаются крушить все, что попадает под руки. «Свободное» искусство вываливает «свободную» любовь, вплоть до «свального греха», одновременно на десятки и сотни миллионов телезрителей. Театр тоже не отстает: ««вживе»» и ««на глазах»» в исполнении любимых актеров, эротические сцены вздымают в поклонниках искусства особенно возвышенные чувства. Писатели, обойдя в разные литературные эпохи поля сражений и дворянские гнезда, аристократические гостиные и захудалые ночлежки, громкие стройки и тихие деревни, устремились теперь в морги и отхожие места. А где неприличие и непотребство, срам и бесстыдство, там и необычайная жестокость с неслышанными жертвами. Всесветное торжище зла, гульбище низких страстей и истин, сбродище нечестивцев. И печаль, усталость, тяжелые вздохи сопротивляющихся, отступающих...

Если бы человек собирался жить долго и совершенствоваться, разве бросился бы он сломя голову в этот грязный омут, где ни дна, ни покрывки? Он должен был помнить об участи Содома и Гоморры. Мы выбираем свою судьбу сами, но — Господи! — в каких конвульсиях, в каком страхе и страдании, но и в неудержимом порыве, в слепом и ретивом энтузиазме мы ее выбираем! Горе нам, не разглядевшим, подобно древним римлянам, маленькую букашку, вползшую на сияющие одежды наших побед в завоевательных войнах! Как много ненужного и вредного, вроде виртуальных миров и генной инженерии, мы завоевали и как мало надо было охранить!.. И не охранили! Горе нам, прогневившим Бога!

И все же реже стали обрушиваться тяжелые порывы на стены моего пристанища. Реже, но еще злей и напористей — как всегда перед отступлением. Темнота лежала все так же черно и плотно, будто глубоко под землей. Я несколько раз поднимался с постели и отодвигал тяжелую штору — глухая непроглядность с упругой силой отталкивала меня от окна. В любой темноте есть «песочек»,

дорожка из сереющих игольчатых уколов, по которой и вытянет этот мрак в свой черед, — тут не было ничего. Темнота в темноте, стена, глушь, окаменелость. Я забирался обратно под пуховое одеяло, отогревался под ним, отогревался до того, что пытался натянуть тепло и на свои страдальческие, доходящие до смертного озноба, мысли. Не получалось. В закрытых глазах изнутри поднимались и плавали нездоровые медузные пятна, мельтешила грязная снь. Под нее мне и удалось в мучительном поиске вытянуть мелодию стиха:

Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья улетели?

Под эти слова, повторяя их раз за разом, под эту утешающую, само собой звучащую мелодию, под эту «колыбельную», зыбая смятенную душу, навевая на нее в поклонах мягкие, в златолистом пуху, пеленающие круги, я в конце концов забылся.

А утром... утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Горбатились смиренно под снегом, с задранными лапами веток, поваленные деревья, скамья перед самым окном, по которой я по-заячьи сигнал, выбираясь на дорогу, утонула в снегу без остатка, утонула и дорога, и мои страхи, и ураганные страсти, буйные наскоки северного ветра в продолжение трех суток — все было погребено под удивительно белым и чистым, в застывших волнах, снегом. Щедрым неслышным укrywом он упал вдобавок к прежнему еще и этой ночью, уже после того, как затихла непогода. Как будто ничего и не было, как приоблажилось от болезненных дум. Я перешел к окнам на Ангару: она, чуть волнуясь, зябко поводя по берегам плечами, выливалась, как и должно быть, из Байкала, брала свой извечный путь и выносила от подвинутой и торосистой кромки Байкала наломанный лед. А белое его поле было настолько белым и ослепительным, что даже и через оконные стекла щипало глаза.

Я проснулся поздно и опаздывал на завтрак, но, подумав, решил, что в это утро, по всей видимости, должен опоздать не я один. Так оно и оказалось. Дверь в столовую была распахнута, на столах лежали пакеты с бутербродами. Электричество после ночной аварии еще не добыли, но никого это не огорчало — ни поваров, ни едоков — все были необычно вежливы друг с другом и, как никогда, друг другу радовались. «Аварийная служба работает, аварийная служба работает», — шелестело по залу, где всухомятку уплетали мы свои бутерброды. Из раздевалки опять гремела музыка, остролицая маленькая гардеробщица с дергающейся головой изнывала в экстазе от бухающих звуков, но и на это смотрели великодушно: пусть ее!

Невеселое небо, ватное и взъерошенное с утра, к обеду вычистило, залило светленькой синью, и солнце, умывшись в ней, разогрелось, пополнело, запустилось лучами и засияло на всю катушку. Беззвучный торжествующий глас, незримые плодоносные струи полились на землю, и она по-женски жадно и нетерпеливо подалась навстречу, часто задышала. И уже через два часа осели снега, зазвенела капель, волшебными своими трубочками затрубили птицы...

И мудро отступил в сторону Апокалипсис.